

84.5к23
ЖС 88

БИБЛИОТЕКА
КАЗАХСКОЙ
ПРОЗЫ

Магжан ЖУМАБАЕВ



Грехопадение
Шолпан

Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач

305 3534 (1)

1400 - 6085 (2)

Магжан
ЖУМАБАЕВ

Грехопадение
Шолпан

Рассказ

Перевод *Е. Хасенова*



«АУДАРМА» БАСПАСЫ
АСТАНА-2023

ББК 84(5 Каз)

Ж 88

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОБЛАЗИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Жумабаев М.

Ж 88 Грехопадение Шолпан. Рассказ.

Астана: Аударма, 2003. - 40 стр.

ISBN 9965-18-083-0

Только спустя полвека после гибели вернулось к нам из заточения имя Магжана Жумабаева. Вина поэта перед сталинским режимом состояла лишь в том, что был он гениален.

Магжан сумел поднять казахскую поэзию до высот мировой лирики, заняв достойное место в ряду классиков литературы Востока и Запада. Подтверждением тому — и рассказ “Грехопадение Шолпан”, единственное прозаическое произведение Магжана. Нет ничего выше и достойнее любви, утверждает автор, и каждый из нас имеет право выбирать свой путь. Даже если за этот выбор придется заплатить жизнью.

523354

Ж 4702250000-97
00 (05) - 03

ББК 84(5 Каз)

© Хасенов Е., 2003

© Издательство «Аударма», 2003

ISBN 9965-18-083-0 © ООХКГ Казахстана, Ж.Болатов

ГРЕХОПАДЕНИЕ ШОЛПАН

В первый год своего замужества за Сарсенбаем Шолпан, бывало, не раз приходилось увещевать так сверстниц-молодух, когда случались меж ними уединенные беседы. Но то было лишь на словах. В отличие от бесчисленных своих сверстниц, разделившая судьбу с возлюбленным, а не с участью обыкновенного скота, Шолпан на самом деле не очень опасалась обзаводиться детьми. И когда бы то ни было — пребывая ли в одиноком раздумье погребенной свежесобранной супружеской юрты, находясь ли в ласковых объятьях мужа, — про себя неусыпно твердила: “Создатель милостивый, избави меня от зачатия!”...

“Как только появится дитя, так исчезнут прелести жизни...” — думала Шолпан. И прорастет между нею и мужем острый шип осуждения. Страшилась Шолпан: стоит лишь пожелтому, незваному третьему лишнему встать кинном в соцветие двух сердец, как выне поугаснет, замерцает, а потом и вовсе сойдет на нет их пылкая и страстная любовь.

Много темных ночей и светлых рассветов томилась этой думой Шолпан, моля Всевышнего лишь об одном: “Не дай, Боже, ребенка!” Снова адел восток, наступало солнце нового дня, и в час, когда всяк смертный обращал к светилу свой трепетный взор и, падая ниц, окуная лицо в пыль, биясь лбом о камни, просил у неба благодной жизни, несусветных радостей, неизбывного достатка, а пуще всего — “детородного” счастья, Шолпан заклинала сквозь тревожные вздохи: “Только не младенца!” Нет-нет, по природе своей не питала она вражды к материнству и мечтала о бездетном существовании лишь с тем, чтобы ни за что на свете не порвалась нежнейше шелка нить их супружеского единения и ни одна душа не посмела нарушить их любовный мир и покой.

Кто знает, может, Всевышний проникся участием к шальным чаяниям юной особы, но вот уже три полных года в браке судьба обходит ее зачатием, чему сама Шолпан благодарна безмерно. И причину того, что огонь их любви, не разгораясь, но и не угасая, день за днем горит своим размеренным пламенем, находит не иначе, как в счастливом отсутствии этого нежеланного чада. Так же и муж ее все эти три года как будто бы не тосковал о потомстве и не жаждал от мира ничего, кроме Шолпан, ее жарких и нежных объятий. Словно только в

Шолпан — начало и конец его жизни, только в ней — его “во здравие” и “за упокой”. Но самое глубокое в природе не море, а человеческая душа. И неизвестно, что творилось в глубине души ее мужа, даже если мир устроен так, каким он представлялся Шолпан. Так или иначе, за эти три года ни в словах, ни в поступках не заметила Шолпан и малейшего намека, чтобы как-то изменить это укоренившееся свое мнение. Вернее, от многих людей слышала она, что жизнь без детей пуста и ничтожна, но ни разу — от своего дорогого и единственного. Увы, для влюбленных священны не аяты Корана, а речи любимого, и что женщине слова, если они не из уст милого друга?!

Друг за другом вдогонку шел за месяцем месяц, вереницею быстрой год сменялся на год, и Шолпан между тем все крепла в убеждении, что “не надо ребенка”. Хотя... эволюция природы, и человеческого общества, как, впрочем, и индивидуального сознания, устроена так, что изменения в ней назревают длительно и протяжно, а проявляются внезапно и вдруг. Два месяца, три месяца — осень, — говорим мы. Но мысль о том, что осень наступила, не волочится за человеком три месяца кряду. Просто в одно хмурое утро мы узнаем, что этой ночью в наших краях вновь поселилась эта морщинистая плаксивая женщина.

Упование Шолпан “чтобы не было ребенка” тоже растаяло за одну-единственную ночь. Был длинный, подобно нити на веретене, не имеющий начала и конца, зимний вечер. В сумерках, завершив дела по хозяйству, Сарсенбай отправился в дом своего приятеля Нуржана поговорить о том о сем. Пять лет прошло, как Нуржан обзавелся семьей. С тех пор у него народилось трое детей: два мальчика и одна девочка. Что-то засиделся у Нуржана муж Шолпан Сарсенбай. Задержали же Сарсенбая не длинные речи Нуржана, а трое его ребятишек. Обсуждать-то по сути было нечего: все тем лишь и были заняты, что с восторгом и умилением наблюдали за малышами и всем сборищем дивились их забавным выходкам. Сначала двое сынишек Нуржана, смешно лопоча, спели какую-то песню. Но вот, засучив рукава на пухлых ручонках, деловито поплевают на ладошки, готовые весело и грозно сразиться в борцовском поединке... Не устояв перед азартом схватки, карапузы неуклюже падают, спотыкаясь о ноги друг друга... Покатываясь со смеху, домочадцы один за другим расцеловывают малышня. Отец Нуржана подзывает внучонка и, не оставляя сухого места, обчмокивает родную кровинку с головы до пят. А слаще всего были картавые словечки и трогательные повадки крошечной дочурки Нуржана.

Целиком поглощенный зрелищем, Сарсенбай не спешил уходить. Как и все в доме, он хохотал от души и без конца целовал ребятнишек. Когда же, распрощавшись с хозяйками занятой вечеринки, возвращался по-своему, весь аул уже отошел ко сну. Шолпан тоже была в постели, но еще не спала. Сарсенбай снял одежду, лег рядом с женой и с ходу начал пересказывать свои впечатления от вечера в доме Нуржана. Говорил при этом бойко и весело, не вздыхая и не сокрушаясь, что "нет у нас, дескать, такого ребеночка".

Но когда Сарсенбай обмолвился походя:

— Эх, не зря говорят "Дом с детьми — базар, без детей — мазар..." — молнией сверкнула мысль в голове Шолпан: "Как же нелепо и безрассудно все это время я отгоняла мысль о ребенке, как не брала я в толк, что бездетное наше супружество грозит обернуться в унылое кладбище?" Блуждая с факелом вопроса среди темного сонмища мыслей, Шолпан вдруг ясно, как день, осознала: в сумраке времени пламень любви растает свечой и погаснет, жарких объятий огню не быть в одном состоянии, ходу двух быстрых сердец не скакать, стремя в стремя, если связующей нитью между ними не станет ребенок.

Рассыпаясь в задорном смехе, Сарсенбай еще долго пересказывал забавные выходки детишек. Заразительный хохот его сотрясал

всю постель, и Шолпан тоже не могла не смеяться. Но это смеялась не растерзанная душа, а только лицо Шолпан.

Стоило лишь Сарсенбаю припомнить неудобную эту поговорку, как полстное сердце Шолпан, ее соколиную душу стали обволакивать черные мысли, отравляющие своим ядовитым дыханием. Сатанинским прибоем бездонного моря иссиня-черные волны накатывались одна за другой... Ох, уж эта нелепая блажь, выпившая три года жизни!.. Откуда-то издалека мельтешит не скоро, но верно приходящая старость. Старость с потухшими уголками глаз, облаченная в пепельно-ветхую робу, безрадостная, как износившаяся осень. Старость, обрезающая крылья души и гасящая огонь сердца. Если не будет ребенка, то кто же из смертных согреет очаг угасающей жизни лучом тепла и света?.. И если не всхожее семя, то кто обернется к цветку со сгнившим в бутоне зерном?..

О нет же! Постойте! Недужная, жалкая старость еще полбеды. И мы до нее доживем ли? Кто знает?.. Неужто задолго до старости жизнь грозит опустеть? Неужто три жалкие года даны разыгратья и сгнуть магической плазме любви, дававшей надежду на жизнь во вселенском бессмертии? Беспечная Шолпан три года жила заботой о бездетном существовании. Теперь же

но не освященное ликом младенца было благополучие неотвязно мерещилось бессловесным угрюмым надгробием. Такова была соленая горечь холодных мятежных волн, нещадно бурливших в глубокой душе Шолпан.

Сарсенбай уже давно погрузился в сон. А отравившаяся нечаянными раздумьями Шолпан все никак не смыкала глаз. Длинная зимняя ночь тянулась бесконечно, развиваясь, как локоны сатаны. Так и мысли Шолпан утопали все глубже и глубже в кромешной тьме.

Вот и солнце забелело с востока золотым ликом восхода. Невольно вздрогнув при виде светила, Шолпан, как девочка, не в силах сдержать рыданий, продолжала молить Создателя об одном: “Боже праведный, дай же мне дитя!”

II

С этой ночи смыслом жизни, пределом желаний Шолпан стал ребенок. В полдень ли, в полночь ли, во сне ли, наяву ли: “О Создатель, испошли мне дитя!” — эту мечту лелеяли ее сердце и уста. Но вдогонку друг другу шел за месяцем месяц, а несбычивость грез превращалась в рутину... Сердце измоталось в напряженном стуке, и мечта устала в бесполезной скуке...

Жизнь износилась в беспроглядной муке. Немало ночей утекло в слезах, падавших не с

глаз, а с горячего сердца Шолпан. Как-то незаметно стала она набожной: неутомимо совершала обряды омовения, непременно поддерживала безупречную чистоту, неукоснительно творила намаз. Изю дня в день просыпалась с первым лучом рассвета, припадала на молитвенный коврик, перебирала четки и произносила “субханалла”. Но ребенок никак не зачинался.

Шолпан никому не говорила о том, что причиной, наставившей ее на путь подобного аскетизма, является никто иной, как ее собственный и желанный, но еще не соизволивший появиться на свет ребенок. Даже от любимого мужа Сарсенбая держала это в тайне. Недаром как Сарсенбаю, так и всем остальным перемены в характере Шолпан показались странными, чудными выходками. Вскоре и свои, и чужие стали шутить и посмеиваться над ней. “Ой, да ты и впрямь намерена стать духопоклонницей?” — начал подраживать Сарсенбай. Все в округе — каждый на свой лад — принялись склонять это прозвище: “Невестка-духопоклонница”, “Свояченица-духопоклонница”, “Тетка-духопоклонница”. И стар, и ровня, и млад, — всем полюбили такое веселье. Но Шолпан ни перед кем не раскрыла сердечную рану. Да что проку, если б даже раскрыла? Ведь на сторонний взгляд никак непостижима тайна страстей человеческих.

Море глубоко, но еще глубже человеческая душа. Камни пучины морской выметает на берег ветром прибоя. Тайну кручины людской не вырвать и самому страшному горю. Могут и исплыть, но лишь тени печали, лишь блики загадки. А человек как был, так остался той самой загадкой. Путаной головоломкой, замком без разгадки. Разве что смерть в состоянии сполна разрешить тайну человека?.. Словно сорвавшись с разорванной нити раздумий, черными четками страха душили Шолпан роковым ожерельем. Эти-то сумрачные, незрячие наития и понуждали стремление Шолпан ни за что на свете не высказать своих страданий пред кем бы то ни было. Что поделывать, среди своих, среди чужих — кругом уделом ее стало одиночество. В одиночку несла незримое душевное увечье, в одиночку корчилась в невидимом пожарище скорби, в одиночку тонула в горьких слезах отчаяния. Отрешилась от мира, отстранилась от благ и утех, отдалась богоугодным молениям. Просила ребенка, но с ребенком ничего не получалось.

Ребенка... В жажде занять ребенка каких только безрассудств не натворила рассудочная Шолпан. У каждого попавшегося муллы испросила себе благословения. У любого мало-мальски известного целителя выписывала и пила заговорные снадобья. У каждой проходящей

чалмы просила магических вдуваний. И когда очередной знахарь с красным, как чирей, лицом бычьим взглядом упирался в воду, а затем шумно выпрыскивал здоровильный дух, у Шолпан от волнения подпрыгивало сердце, она то краснела, то бледнела, и все же неотвратно подставляла лицо ко рту добродетели, дабы “чудо-действенная” струя, не рассеявшись всеу, целиком была впитана страждущим телом. Всюду при случае, ссылаясь на “головную боль и темень в глазах”, обращалась она и к услугам баксы. И еще... и еще... чего только не предпринимала Шолпан?! Как мечется ошалевший в пожаре человек, — все это испытала на себе Шолпан. Но бежал неотступно год, спешащий за годом. О ребенке ни кивка, ни намеса. В мир идти дитя не собиралось. Но Шолпан с мечтой не расставалась. Только слез в глазах уже не осталось. Свет ей стал не мил и мирские радости перестали ее волновать. Уподобившись схимнице, возглашала в жертву ангелу — коня, в дар хранителю — овцу, прося об одном: “Боже справедливый, воздай мне ребенком!” Но желание, не претворяясь в жизнь, превратилось в унылый бесконечный мотив. К ее мольбам Всевышний оставался безучастен. Кто знает, быть может, был свой смысл и была своя правда в том, что Небо ограждало ее от материнского счастья. Быть может, внемля ее

прежним чаяниям: “Предохрани от бремени!” — Бог однажды навсегда запечатлел их в неподлежащих травлению небесных скрижалях. И нынешнее устремление Шолпан — пустая затея, бессильная пред ликом свершившейся судьбы. “Торгиокончены!” — наотрез заявляет иной самодержный купец, и такое сравнение как будто водится и за Богом. Наверняка и Бог — беззастенчивый, алчный, бесчестный торговец. И необузданных, самолюбивых, властных повадок ему не занимать.

Не будь у него такого нрава, разве изгнал бы из рая в срамном виде первопредка нашего Адама за нарушение запрета своего? Обратил ли в нечисть Азазеля за непоклонение земле Господней?.. Кто знает, не взял ли он в руки испытанный и неотразимый свой бич? Как бы там ни было, но ребенка Шолпан он не дал. Бесчисленные благоустремленные воздерживания, приемы зелий и снадобий, всевозможные обдувания, опрыскивания, обстукивания и обтряхивания, совершение намаза и исправление азы, раздача подаяний и пожертвований, — от всего этого вконец обессилен Шолпан. Бесполезность набожной суеты обнаружилась со всей очевидностью. Стенания ее не услышаны — Бог перестал быть любовью, надеждой и верой, а сударыня-жизнь все летит обгоняющим ветром. Жизнь — что налаженная и запущенная машина.

Машина без души, не знающая ни остановок, ни устали, ни износа. Что ей чья-то кровь, слезами льющаяся из глаз, чья-то убитая надежда и чей-то увядающий цвет? Какое ей дело, что меж ее колес оказалась чья-то рука, нога, голова и даже все тело, а с ним и душа человеческая с неведомыми мирами, заключенными в ней? Вот и исходящее кровью сердце Шолпан, ее бьющаяся в судорогах крылатая душа не заставили безоглядную жизнь повременить, обернуться в сострадательном взоре. В страстном своем возбуждении изрыгая кипучую пену и зевом, и всем своим телом, жизнь безудержно мчалась сумасбродным буйством горного водопада. И каждую минуту жизнь гасила одну за другой каждую искорку ее чувств и помыслов, каждую клеточку ее разума и души.

Жизнь течет, мечта гниет, наследства нет. Как теперь быть? Нет, пропади они пропадом, эти святыни, святые отцы и праведники! Довольно пресмыкаться и заискивать! Пусть неуступчивый и высокомерный небожитель подавится своим упрямством. Тем более, что скорее всего, ключ к деторождению находится не в небесах, а, по-видимому, в самом человеке.

Произвести потомство — это, наверное, связано с самими мужчиной и женщиной. И, возможно, причина тому, что она до сих пор ни разу не забеременела, — в том, что Шолпан еще

никак не проявила себя настоящей женщиной. Все, быть может, оттого, что, находясь в постели с мужем, она, как и все казахские женщины, ведет себя как ни в чем не бывало: хладнокровно и буднично, словно занята каким-то привычным трудом. Все дело, наверно, в неумении, отдаваясь мужчине, всецело сливаться с ним душою и телом, в нежаркости пламени ее объятий, в несладком ожоге ее поцелуев...

В приятном и горьком дурмане своего нового открытия Шолпан совсем по-иному стала спать с Сарсенбаем. Тело ее преобразалось в пожар, груди — в пламя, рот — в огонь. Завидев Сарсенбая в постели, начинала дрожать всем телом и трепыхаться, как пугливый сайгаченок на привязи, сгорать от стыда и смущения, словно тринадцатилетняя девочка, впервые в жизни увидевшая мужское существо в непосредственной близости. Обнимая Сарсенбая, прилагала такие усилия, будто поровила сплющить грудную клетку мужа. В неутомимой жажде впивалась губами в губы Сарсенбая, отдавая мужа горячим дыханием. В какие-то минуты передышки, как битой медоходом рыбине удастся скользнуть в спасительную глубину, так и пресыщенному любовными ласками жены Сарсенбаю удавалось высвободиться из оплетших вьюнком супружеских членов, и, нежась в волнах

сладострастной истомы. он, бывало, беззлобно попрыскивал со словами: “А ты, старая сивка, на старости лет, я смотрю, решила бежать в иноходь!” Не ведал Сарсенбай, что этот его смешок горьким перцем сыпался на сердечные раны Шолпан. Как черные жемчужины обволакивались слезою ее глаза. Бессильной яростью, безысходной тоской обнивалась на несмысль, что единственно любимый и дорогой ее человек никак не пытался чувствовать, догадаться о сокровенной тайне души. В пору, когда, отчаявшись, стала она аскетичкой, муж прозвал ее “Духопоклонницей”... В момент, когда осенило лучом надежды и опять же в думах о младенце прибегла она к взбалмошной специальной тактике, — стал дразнить ее “Иноходцем”. За все эти обидные прозвища, без тени жеманства, честно оссрчала Шолпан на Сарсенбая.

Малыш... Малыш ведь нужен им обоим. Надежная связка, равно недостающая им двоим. Почему Сарсенбай не выходит в совместный поиск этого общего недостающего звена? Как не чувствует он, что бездетная жизнь пуста и никчемна? Почему не желает он разделить муки поиска выхода из тупика? Всяк, кто зовется мужчиной, при одном только слове “наследник” кладет свою пищу на землю, забывая обо всем на свете, кроме потомства, Сарсенбай же — ни разу не обмолвился об этом. Или... может быть...

Нет... вряд ли... не может быть... кто знает... да ну... тогда почему он не говорит, что хочет иметь ребенка? Тогда почему... почему... или он в самом деле... бесплодный мужчина? Боже мой, Боже праведный... если он в самом деле, если он неспособен... неужто вся загвоздка не в скудости молитв, не в холоде объятий, а только лишь в бесплодии Сарсенбая?! Значит, ране, измотавшей пять лет ее жизни, не зажить до окончания века? Значит, соленые слезы на молитвенном коврике, нежные объятия и жаркие поцелуи — значит, все это без пользы брошено на ветер? Значит, ребенок — это только пустой звук, всего лишь плод воспаленного воображения? И всю оставшуюся жизнь — как потерявшей листву березе — придется коротать в голом иночестве? Неужто увядшие корни теперь навсегда разлучат два дерева, чьи кроны когда-то сплелись в пылу беззаветной любви? Неужто любви, воспылавшей с торжественным гулом, теперь суждено бесславно истлеть в угольках?.. А угаснет любовь, что за смысл останется в жизни?!

Слов нет, Сарсенбай — бесплоден. В этом вся причина. Когда нет детей и я несчастна... когда я несчастна, разве счастлив Сарсенбай? Как не плакать его душе? И как же горько осознавать себя отравителем двух человеческих жизней? Неужто никак не проникся нуждою о детях —

огне, согревающим смертных на старости лет? Нет сомнений, если несчастлива я, Сарсенбаю вряд ли дано быть счастливым. Если все это так, кто же сумеет отбуксировать терпящий бедствие корабль жизни к мысу счастливого спасения? — Шолпан. Только Шолпан. Не для себя одной, а во имя двух судеб Шолпан обязана сделать это. Шолпан должна родить ребенка.

Она должна непременно родить, если это и обойдется ей в грех величиной с гору и глубиной с море. Неужто не отпустит Всевышний грех, совершенный в благом намерении? О нет, Творец великодушен и милостив, он простит. Бог-то поймет и простит, но простят ли люди?

Сотворив разбой, добудь скот,

Сотворив блуд, обрети потомство.

Будь проклят человек, сочинивший эту пословицу! Будь проклят!.. Прости меня, Господи...

Окруженная облаком соблазнительных, грешных догадок, Шолпан лежала, купаясь в горячих слезах. Шел восьмой год ее замужества за Сарсенбаем.

III

Был месяц май. Аул расположился, недалеко сместившись от зимовья. Солнце в зените обозначило зрелый полдень. Дует несильный ветер. Мошкары почти нет. Ленивой мечтательной стаей проплывают в небе серо-

голубые сонные облака. Словно матовой тонкой материей окутан весь небосвод, и воздух свеж и упруг... У коновязи шалют и паясничают, несмотря на боль в шее, несмышленные жеребята. Стоящие рядом дородные кобылицы время от времени облизывают своих детенышей от холки до крупа.

“Жеребеночек мой, шея ведь будет болеть, проку нет от озорства”, — как будто журили они своих малышей. “Что случилось, родимый? Что это с тобой?” — суется вокруг своих чад первородящие мамыши-кобылицы. На что старый отец-жеребец лишь подергивал ушами, словно говоря: “А ну цыц, дурехи! Чего раскудахтались? Ничего с ними не стряется!” Овец еще не пригнали с пастьбы. И в загончике жалобно блеют их проголодавшиеся ягнятки: “Ме-е-е-е”...

В этот час сидела Шолпан у порога своей юрты, потягиваясь и жмурясь, словно кошка, греющаяся на солнце. Она как будто занята каким-то шитьем. Но это только видимость. Вот уже три месяца, как обдумывает она свои грешные, неотвязные, как призраки, думы. И вот уже скоро месяц, как несовратимо наставила она себя на грех. Всего лишь ради ребенка, во имя благого своего намерения взять на душу доброжелательный грех — сотворить зло в отношении единственного ближнего и

возлюбленного своего Сарсенбая — твердо решила Шолпан. Сарсенбай сегодня уезжает в город с ночевкой. И раз уже решила на этот шаг, к чему откладывать в долгий ящик и попусту травить себя? Что ж, тянуть и медлить не стоит, но кто подходит для этого дела? Кто сможет стать отцом будущего ребенка? Табунщик Адамкул.. Правильно, перебудь она с этим рабом — тайна не станет явью, и прикрытый котел остается при крышке. Однако.. Что за дитя пойдет от Адамкула? Ведь от раба рождается раб, как от рабыни — рабыня! Родится сын — пусть будет господин, а не презренный отпрыск подлого раба. Пусть в мир придет свободный гражданин, изгой по крови — никому не нужен. Чем быть ребенку робким, забитым рабом, лучше не быть ему вовсе... Нет, нет, к чертовой матери этого Адамкула! Так, но кто же, кто же еще?.. Совсем никого. Совсем никого, кто достоин замарать белоснежные крылья любви, а тем более — стать отцом будущего ребенка. Неужели нет никого?

Шойбай ... нет ... Жумагали ... нет ... Азимбай... Азимбай... А как насчет Азимбая? Он родовит и молод, вполне здоров, совсем неплох. Лет ему на вид не более 18-19-ти. Высок ростом. Косая сажень в плечах. Улыбчивый кареглазый взгляд. Только-только пробившиеся усы подобны нитям черного

шелка. Боже мой, да ведь этот самый Азимбай вот уже три года, как ошивается вокруг да около с непременным “женге” и какими-то смутными намеками! Совсем юный еще, наивный: помнится, заявляясь пококетничать перед ней, говорил лишь то, что сумел заучить назубок из уст зрелых молодых людей. “У всех, кто молод, на уме одна забота:

Как в нить распутать шелковичный кокон...”

В этот миг бесконечного, как нить на веретене бега мыслей Шолпан вдруг почувствовала, как губы ее растворились в улыбке... В тот же самый момент из-за дома вышел Азимбай и, сказав: “Бог в помощь, женге!” — тут же примостился рядом с Шолпан. Недаром сказано поэтом: “Лицу не скрыть всех таинств мук сердечных”, и, лишь увидела Шолпан Азимбая, как ее горло перехватило удушливым волнением, она то краснела, то бледнела, не в силах совладать с собой. Было такое чувство, словно ее застали врасплох за постыдным занятием, и, казалось, Азимбай коварно прознал все ее греховные мысли.

— С утра и до вечера ты все корпишь, не покладая рук. Что ты шьешь, женге! — произнес Азимбай и, делая вид, что притрагивается к лежащей поверх колен Шолпан рубашке, слегка ушипнул ее за ляжку.

— Ты что это, повеса, позволяешь? Странный ты какой!.. Твой добрый братец нынче в город

собирается с ночевкой. Чиню рукав его сорочки. Ты, говорили, вроде тоже в город собрался.

— Сегодня добрый братец уезжает в город?..

Так-так, женге, неужто без ответа оставишь ты мои слова, которыми уже три битых года я домогаюсь твоего расположения? Ну и камень же у тебя, а не сердце: не знает ни смягчения, ни снисхождения!..

— Ты снова за свое? Слушай, ловелас, к чему тебе меня беспокоить? Вон сколько девушек в округе, не проведаешь ли их?

— Я разве просил у тебя девушек? Числом моль, да качеством — ноль, плевать я хотел на таких девушек. “Платок из рук возьмет пусть лишь кто тебе чета”, ты что, не знаешь этого, что ли?

— Не прожил и двадцати лет, а уже выжил из ума. Восемь лет как замужня баба, это я ли “лишь тебе чета?”

Усмехнувшись при этих своих словах, Шолпан сощурилась, как избалованная кошка, и испытующе посмотрела на Азимбая. Оторопев от этих слов и глаз Шолпан, Азимбай замороченно произнес:

— Нет. Я в том смысле, что люблю тебя. Бог мой, сколько бы ни была баба замужем, разве может быть старой женщина, никогда не имевшая детей?

Выдав эту тираду, Азимбай заткнулся в окончательном замешательстве. Осознав нутром, что словом “детей” задел Шолпан за

обнаженный нерв и тем самым оттолкнул ее от себя, Азимбай, не в силах возобновить оборванный разговор, бессловесно пожал рукой левую ляжку Шолпан.

Шолпан отстранила его руку и заговорила, задумчиво осмотрев свое шитье:

— Что любишь, наверное, так оно и есть, но как прикажешь замазать глаза доброму твоему братцу? Мы ведь не малые дети, которым без разницы: “Украсть нам не порок, порог нам не пророк и что нам до того, что скажет Бог...” Что скажет Бог?.. К тому же ты молодой еще. Да и язык за зубами держать не умеешь...

В эти минуты глаза Шолпан наполнились влагой бездонного черного моря. Зрачки же Азимбая запылали сумасшедшим азартным огнем. Даже не удостоив вниманием вулканическую сферу, где тревожными субстанциями обретали плоть понятия грех, Бог... Азимбай суматошно ринулся утверждать свою состоятельность, словно весь вопрос заключался в его выдержке.

— Что я, ребенок, секреты разбалтывать? Или я тебе враг какой-то? Эх, женге, если бы ты только знала, как я тебя люблю... Хотя, впрочем, довольно того, что волочила ты целых три года. Мне сегодня ночью прийти?.. Прийти...

Ладонь Азимбая не только очутилась поверх починаемой рубахи Сарсенбая, но уже сновала по платью самой Шолпан.

— Ну хватит... Ну ладно... хватит...

— Дай поцелую разок!..

— Ты потерпеть не можешь? Вон, кто-то идет...

— Что ж, веселый щеголь, проходи в дом, отведай нашей пищи...

Великолепная ночь самой нежной поры. В небе ни единого облака. В необъятном иссиня-черном бархате небес в печальной задумчивости проплывает белое золото луны. Что ищет эта луна, кто она? Женщина ли, разлученная с любимым? Мать ли, потерявшая ребенка?.. В заливных лугах, что за зимовьем, неустанно галдят лягушки. Квак, ква-ак, ква-а-ак... О чем их печальные песни? Или просят они лишь самую малость: жить бы, любить бы, плодить бы? В чаще у озера кто-то вопит неумолчно: “Господи! Господи! Господи!..” Что же за тяжкий грех совершила беспутная птица, коль обречена причитать вековечно, не бросая из уст имени Господа своего?..

Шолпан лежала на деревянной кровати. Перед тем, как прилечь, искупалась с душистым мылом, достала из сундука новое платье. Для кого она мылась? Для кого наряжалась?

Кого она ждет? Конечно, Азимбая. Ждет Азимбая — чтобы наставить рога милому супругу Сарсенбаю, с которым все эти восемь лет затянувшегося медового месяца жила душа в душу, не творя и не терпя ничего дурного ни

в мыслях, ни в поступках. Ради чего? Чтобы был ребенок! О Создатель, прости, прости, если сможешь... Звук шагов... Открыли дверь...

И вот вошли в дом... Азимбай направился прямо к кровати... Шолпан затаила дыхание. Тело ее затрепетало, подобно заарканенному кулану, и сердце подступило к горлу: казалось, стоит раздаться звуку, и оно готово выстрелить изо рта. По телу пополз леденящий озноб. Как молодой борзый пес, настигнув лисицу, разрывает себе легкие от волнения и гонки, так и Азимбай, суматошно пыхтя и раздеваясь наспех, бросился врываться в ворох одеял.

Наверное, и глаза его в ту самую минуту, как у тазы, были налиты кровью. А не закричать ли: “Прочь отсюда!” — подумала Шолпан. Но дар речи изменил ей, и крика не прозвучало. Азимбай же тем временем залез под одеяло и уже всю терзал ее тело, сумасшедше шепча “женге”. Стоном истязаемой жертвы прозвучал голос Шолпан: “Резвый ходок, потерпел бы чуть-чуть... Немного полежи просто так...”.

Прежде чем окунуться в пьянящий омут греха, Шолпан хотела исповдаться перед Азимбаем. Вынуть и показать прожорливого солитера, изглодавшего душу. Рассказать, почему ее сердце, с младенчества не ступавшее на тропу бесчестия и даже окаменевшее в своем благонравии, сегодня вдруг растаяло последней

весенней льдышкой. Поведать, что жаждет она младенца, а не адских объятий и плотских страстей. Хотела поделиться с Азимбасем своим горем-злосчастьем, посвятить его в тайные думы... Но Азимбай был не таков, чтобы слушать и слышать ее. Лишь стоило забраться в постель — как начал бесноваться кобелем, загнавшим зайца. Не обронив разумного слова, ринулся тискать тело Шолпан. Игра закончена... Шолпан лежала словно водянящийся труп. И все то время, пока неистовый, одурманенный Азимбай шалел от шальной утехы, из огромных глаз Шолпан горькими ручьями струились на подушку горячие светлые слезы. Что до Азимбая, то озабоченный лишь своими ощущениями и телом Шолпан, он совсем не замечал ее соленых слез и душевных мук... Пуховая подушка под головой Шолпан давно уже хлюпала от влаги. Только глубоко за полночь, упав в страстном изнеможении лицом в подушку, Азимбай изумленно воскликнул: “Ой, да ты неужто плачешь?! С чего это ты?.. Ох, не зря говорили, духопоклонница она и есть духопоклонница”. Вот и все, что уразумел к этому времени эта бестолочь Азимбай...

Светало.. Азимбай поцеловал ее в щеку и сказал: “Ну, я, пожалуй, пойду, а завтра приду пораньше”. Лежавшая неподвижно, подобно изошедшему в плаче ребенку, Шолпан

вознамерилась было отрезать: “Нет, больше не приходи!” Но какой-то внутренний зов предостерег от поспешного шага, и этим властным призывом было дитя. Хорошо, если эта ночь даст начало новой жизни, а если не даст?.. Не обернется ли хомутом пожизненного проклятия на шею Шолпан? И грех этот станет неизгладимым позорным клеймом на судьбе?.. Вытирая рукавом неумные свои слезы, Шолпан зашептала полувнятно: “Приходи, удалец... приходи... приходи...”

Шолпан беременна. Пять лет беззаветной тревожной надежды приблизили заветную мечту. Некогда увядшие, опротивевшие будни наполнились цветущим, торжествующим смыслом. И грех не остался грехом, но преобразился в сострадательное воздаяние. Как же радовалась Шолпан, узнав, что беременна, как сновала в приятном беспокойстве! Как ни днем, ни ночью не знало покоя лицо от счастливых улыбок! Стоило лишь ненадолго остаться наедине, Шолпан любовно гладила свой живот, а потом целовала ладони так, словно не наделенный душой и разумом комочек плоти, завязавшийся в ее чреве, мог ощутить теплоту ее рук, лепет ее уст и нежность ее ласк. Безумная Шолпан! Что ж, нынче нашла она утерянное сокровище. Злая шутка судьбы, сковывавшая волю, лишавшая рассудка,

толкая на грех, — сгнула с глаз без следа. Но как же быть с тем, что не может расстаться Шолпан с Азимбасм? Или вправду Шолпан покатила по темной тропинке? И прелюбодеяние вошло в ее кровь ненасытной привычкой? Увы. Из той ли породы Шолпан, чтобы измену вменить в привычку, а блуд — в драгоценность. Так в чем же дело?! Дело в том, что на этот вопрос ответа нет. Дерзающие познать глубину, ищите ее не в море, а во внутреннем мире женщины! Это возможно — прознать о том, что лежит за семью пластами земли, но предугадать траектории женской психики — не возможно никак. Раз посмотришь: женщина — что ребенок, шалящий с огнем, не зная о боли ожога. Приглядишься, женщина — бог для мужчины: она и родит на свет, она и погубит, она и согрет любовью, она и спалит дотла. Рассмотрешь поближе, женщина — рабыня мужчины: стелется землей под его подошвы, бродит неотступно бессловесной тенью, а самой ее как бы не существует. Когда сильна женщина духом, мужчина перед ней кручинится и трепещет, и все же не позволяет ни себе, ни другим забывать, что он тоже человек с собственным лицом и достоинством. Пересилит духом мужчина — женщина расстается с человеческой сущностью, становясь живым воплощением небытия.

Здравый смысл ей уже не в тягость. И язык уже проглатывается за ненужностью. Особенно если женщина не порочного нрава. Нет никаких сомнений, что женщина в этом случае превращается в безропотную рабыню мужчины. А Шолпан была одной из таких женщин. Материя и дух в ней не были соперниками, ее душа и тело всюду были рядом, вместе и заодно. И, если кому-то поверяла себя, — всецело предавалась тому душой и телом. Первоначально задумывала Шолпан, что тело свое лишь на время отдаст Азимбаю, а душу свою сохранит в невредимости. Но замыслу не суждено было сбыться в делах. За три-четыре месяца и душа Шолпан, вслед за телом, успела покориться Азимбаю и теперь неотвязно плелась за ним на невольничьем поводке. Что и говорить, неволя любовной связи ставила страданий не меньше, чем муки хождения за чадом. И об этом немало ночей проплакала Шолпан, издавна отученная скупиться на слезы. Но ведь слезами горю не поможешь! Вот и Шолпан никак не помогло. Было так: завидит Азимбая — и уже голова идет кругом, тело бросает в дрожь и язык заплетается в сладкой истоме. Никак не могла взять в толк, как позволяла взгретому кровью Азимбаю в пьяном буйстве мять и терзать ее хрупкое тело. Говоря по правде, бешеный натиск этого необуздан-

ного Азимбая не давал ни минуты покоя, ни малейшей передышки, чтобы опомниться, собраться с мыслями, завести разговор. Ладно уж, как бы там ни было, видать, все есть предписание Всевышнего и — поскольку Азимбай как-никак приходится отцом малютке, что в чреве, — может быть, совсем не обязательно начисто разрывать эти узы. Может, это совсем даже не грех. Если Сарсенбай законный супруг, то Азимбай — отец ребенка: Создатель милостив, он все и простит своей волей. Но как ей бороться со сплетнями, что плодятся кругом словно мухи? Ох, сопляк Азимбай! Эх, балбес Азимбай! Дуралей Азимбай! Не знает, что тайна — для того, чтобы скрывать. Не соображает, что ли, что кругом люди?

Где завидит, там и рычит боевито, как игривый щенок. Где застанет, там и липнет, распуская бесстыдные руки... Эти сплетни проклятые разбредаются, как отары на пастбище. Если сноха-набожница вдруг прослышет снохой-блудницей, каково ей будет смотреть людям в глаза? Помнится, давеча Шолпан чуть было сквозь землю не провалилась, когда свекровь спросила как бы невзначай: “А что это, сноха, Азимбай зачастил в твое жилище со всякой фамиллярной брехней?” Пропади они пропадом, эти гадкие родичи! К черту эту свекровь! К дьяволу такую

жизнь! Но Сарсенбай... ее милый, прелестный, земной Сарсенбай!.. Все тот же ли он для Шолпан? Почему он не искрится, как прежде?

Отчего постоянно задумчив? Да разве не видно, что нежные узы любви, разорвавшись, обвисли? К черту ребенка! Гори оно синим пламенем, это дитя, подмешавшее яду в любовь, что была слаще меда и белей молока! Он ли это, ее Сарсенбай, за все восемь лет ни разу не сказавший “ты”, за один-единственный год растерявший тепло своих слов? А теперь — чуть что-то не так, придравшись по ничтожному поводу, поливает огнем оскорбительных, едких ругательств. Мало того, ругань, что на кончике языка, перерастает, крепчая, в побои, что на кончике сыромятной плетки. Вот вчера, например, почему он ее ударил? Раньше, уплывши все его состояние с вешним потоком, — Сарсенбай бы и бровью не повел, а вчера вдруг схватил и опрокинул на пол. За что?

За то ли, что, нечаянно выскользнув из рук, одна посуда разбилась вдребезги? Как бы не так. За шашни с Азимбаем! Порывается избить, а о причине ни слова. Что он вечно молчит, будто камней в рот набрал? Задай хоть вопрос — и Шолпан бы раскрылась перед ним. Созналась бы, для чего обрекла себя на грех, во имя чего решила на блуд. Но нет от него ни звука, ни слова, только брань да издевательства.. Любовь

погибла. Жизнь лишилась смысла. Да провалятся они в преисподнюю! Да будет проклят этот ребенок, да сварится заживо исчадьё в беспросветной утробе!..

Снова потянулись коварные, кошмарные ночи, когда, покидая враждебный берег страдания, Шолпан многократно погружалась в холодное море раздумий, безуспешно пытаюсь нащупать дно истины. Но, кроме иссупленных стенаний — “я стою меж двух огней, Боже правый, пожалей” — так и не смогла подобрать ключа к разъедающей душу головоломке. Отношения с Сарсенбаем ухудшались день ото дня. Расстояние меж ними, разграничившись прециной, обвалилось оврагом, а овраг зазял неодолимой пропастью. Но там, где человек не знает брода, сама эпоха строит переправу. В этом мире можно обойти ловушки и западни, устроенные руками человеческими, но никого еще не миновала петля, уготованная его величеством Временем. Вот и Сарсенбая с Шолпан, как несмышленных детей своих, рассудили по обычаю и праву осенявшие их времена и нравы.

В небе мерцали последние сентябрьские звезды. Изготовившийся к зимовью аул встопорщился в предчувствии холодов. Ночь холодна. Свинцовые хмурые тучи ползут в небесах, обгоняя друг друга. Белым саваном

подернула тело земли осенняя изморозь. “Мо-мо”, — временами мычат мерзнувшие на привязи под арбой телята. Над ними, свесив комодами сытые брюха, невозмутимо посыпывают коровы.

Сарсенбай сегодня спозаранку погнал в город скот на продажу. В притихшем доме, на кровати, кутаясь в ситцевое одеяло, лежала Шолпан. На теплом ее животе, распластавшись капризным нежным сыночком, вовсю храпел Азимбай. Шолпан была в летучей полудреме, когда слух различил.. скрипучие звуки арбы. Вздрогнув, Шолпан пробудилась. Что это, корова трется об забор?.. Да нет. Это телега. И возница есть. Азимбай!.. Ыхы-м-ме-е,— произнес Азимбай.

“Азимбай! Азимбай!” — повторила Шолпан, но поняв бесполезность затеи, ущипнула его за ляжку.

— Ой, ты что, сдурела?

— Ойбай, срамотища какая, сюда едет кто-вставай же! Уходи-ка отсюда. Хорошо, если это не добрый твой братец...

— Она, наверное, с ума сошла! Он что, на крыльях сюда прилетит?

— Вставай, я тебе говорю, окаянный! Вон, уже здесь!..

Когда, выскользнув в дверь, Азимбай двинулся за дом вкруговую, Сарсенбай уже спускался с арбы.

— А ну, кто здесь? — окликнул Сарсенбай. Вместо ответа “я”, он увидел Азимбая,

улетавшего рысцой мимо зимовья к ближнему ивняку. Не распрягая коней, Сарсенбай шагнул в дом, сбросил на ходу стеганую шубу и, взяв покрепче кнут, принялся хлестать лежавшую на кровати Шолпан. Глаза его налились кровью, он смотрел перед собой ничего не видящим, ничего не смыслящим взглядом. В голове воцарилась ярость, в руках — длинный кнут. Хлысь-хлысь-хлысь... Шолпан лежала под одеялом, не подавая признаков жизни. Тихо и неподвижно, как может лежать лишь труп. Эта отрешенная поза вконец вывела из себя Сарсенбая.

— Ах-е-о-о, сучье отродье! — просипел Сарсенбай, отшвырнул кнут, разорвал в клочья одеяло, выволок заплаканную Шолпан за руку постели и, толкнув на пол, начал пинать. Шолпан не проронила ни звука. Только успевала утирать рукавами глаза. Пинки сыпались то по голове, то по ребрам. У Шолпан не вырвалось ни единого крика. Лишь когда кованый каблук ударяет по легким, она непроизвольно выдыхает: “А-ах!” Снова молчание. Каблук пришелся по животу. Шолпан тронула ладонью живот и сказала: “Ребенок!”. Это слово взбесило Сарсенбая пуще бешеного волка.

— Сучья твоя душа, я что, просил у тебя ребенка?.. Я что, сказал: поди, блуди, но роди?! Ты ведь, сука, полгода как водишь бесчестье в дом!.. Заткнись!... Убью я тебя, мерзавку!

Убью! Лучше разом, чем каждый день муки терпеть!.. Умри, собака, умри!..

Сарсенбай заорал так страшно, что весь аул проснулся как один. Сначала, нацепив телогрею, притащилась из большого дома дряхлая мать Сарсенбая. Вслед за ней, впопыхах накинув на голое тело мужнину безрукавку, сверкая коленками из-под рваной исподней сорочки, появилась жена пучеглазого, что жил по соседству. С самого порога обе зашлись в паническом вое.

— Ойбай, так убьешь ведь, ойбай!.. Сыночек, опомнись и дело верши по разуму...

— Разум свой можете оставить себе, не суйтесь. Убью, убью эту гадину!..

Старуха с бабой кинулись разнимать. Запричитали, засуетились, повисли на руках: одну он смахнул рукой, а другую запнул куда-то. Не угомонился. С лицом белым, как мед, и глазами красными, как кровь, Сарсенбай продолжал побоище. Шолпан уже не обнаруживает признаков жизни. Не рыдает, не стонет и, кажется, даже не дышит. Либо потеряла сознание, либо совсем умерла. Две женщины, наконец убедившись, что вдвоем им здесь не управиться, решили созвать аул. Жена пучеглазого, выбравшись за дверь, закричала во всю глотку:

— Ойбай-ау, ойбай! Вы что, повымирили все, что ли? Идите же скорей! Здесь человек умирает!

Заслышав этот леденящий душу “ойбай”, взлохмаченные аулчане мигом высыпали из своих домов. Шаркая небрежно обутыми кебисами, в кимешках набекрень хлынули со всех сторон хозяйки на тревожный зов; шумно отхаркиваясь и гаркая на сонную челядь, двинулись на шум отцы семейств; спотыкаясь в наскоро накиннутых ичигах, засеменили на свет смущающиеся даже самих себя молодухи... В щегольских сапогах с широкими раструбами, в просторных балахонистых куртках, с развевающимися на ветру неподвязанными веревочками от панталонов нсуклюже-манерной развалочкой зашагали в предвкушении знатного разбирательства стайки местных ухарей и великовозрастных шалопаев... В светло-сером строченном бешмете и с неизменным посохом подоспел и Темир-ходжа, заночевавший в одном из домов, собирая зякет... Как оказалось, невольно лишив аульчан небывалого зрелища, Сарсенбай и сам опустил руку, остудив свой пыл, как только различил истошные крики жены пучеглазого. Шолпан лежала в глубоком оцепенении. Платье на ней изодрано в клочья. Все тело ее с головы до пят было в крови. Из рта и из носа, поблескивая, сочилась кровь. А притихший Сарсенбай бесстрастно восседал посреди развороченного супружеского ложа... Ни мыслей, ни чувств, ни слов, ни действий не

выражало его лицо. Он будто и сам погрузился в немой, бессознательный обморок. А народ все валил в открытые двери.

— Этот досточтимый, кажись, двинулся рассудком, — промолвил кто-то.

— Ойбай, какой ужас! Она же забита насмерть — завопил кто-то еще.

— Туда ей, потаскухе, и дорога! — заключил кто-то третий.

Кругом шум и гам, всюду топот и шепот. Темир-ходжа взял в ладони запястье Шолпан и распорядился: “Прысните воды!” Кто-то быстро принес воды. Спустя немного времени, к Шолпан вернулось дыхание и, вдохнув струю воздуха, она немощно произнесла: “Алла...”

— Не смей поминать Аллаха, недостойная подлая тварь! — выругался Сарсенбай.

— Сарсенжан, светоч мой, будь благоразумен. Конечно, нет такого мужа, чтобы не колотил жену, однако...

— Светлейший, вам не стоит вмешиваться в это дело. А эта собака должна подохнуть!..

— Сарсенжан, покорись разуму, это убийство..

— В любом случае, мне она больше не жена. Не жена, и да будет так. Да будет талак! Талак! Талак!

— Сарсен, ярость — враг, а разум — друг, успокойся, не будь скорым на суд. Это не легкое

дело — расстаться супругам, долгое время прожившим в счастливом согласии и мире. И потом: ведь не только в быту, но в самом Шариате священном предусмотрен канон и пути очищения от скверны, ставшей вдруг непотребной, но исконно чистейшей и доброй еды... Вот, к примеру, гласит Шарият: коль пала жена под пяту непотенных влечений, ссть это лечение — полить на ее наготу сорок ведер холодной естественной влаги ручейной, заблудшая вновь — и чиста, и честна, как дитя...

Не успели слова эти слететь с уст ходжи, как стоявшие тут же пять-шесть баб подхватили едва пришедшую в сознание Шолпан и стремглав уволокли во двор...

Шолпан смутно ошутила упругий холод сентябрьской ночи, глухой глинобитный домишко без окон, чьи-то руки, державшие на весу и снимающие белье. Прямо с ходу, скрежеща зубами, какая-то баба опрокинула на голову Шолпан ведро ледяной воды. Шолпан сотряслась в страшной судороге. В эту самую секунду невиданным разрядом молнии вся жизнь промелькнула в ее воспаленном мозгу...

...Эти новые шолпы так тихо звенят при ходьбе, что Шолпан неоднократно разъединяет и скрепляет грузы и тяжи, добиваясь звучания... Разрешение у строгой сестрички испрошено, и теперь Шолпан идет на задорный девичник...

А вот и Сарсенбай, благородный и статный, впервые появился в их доме... Первая ночь... Воловья морда волхвующего муллы... Черные усики Азимбая... И стиснутые зубы с новым ведром студеной воды. Шолпан простонала невольно: “Алла...”

— Блядь ты такая, на что тебе Аллах! — огрызнулась одна из женщин.

— Ничего, все устроится, деточка... По молодости всякое бывает... Да Бог тебя не оставит, — подала голос другая.

У Шолпан больше не оставалось ни слов, ни мыслей. Сознание помрачалось по мере того, как с потоками воды застывала в жилах кровь. Глаза уже не видели ничего, и веки смыкались плотней и плотней... Третье ведро, четвертое, пятое... Какое-то время тело сопротивлялось холодным струям произвольным вздрагиванием. Но вскоре прошло и оно..

На следующий день к полудню Шолпан очнулась и, с трудом открыв глаза, зашептала:

— Где мой ребенок?... А он почему не зайдет хотя бы проведать?

Сказав это, она обняла уголок одеяла и, безвучно шевеля губами с укором кому-то “эх”, снова обмякла в тягучем беспамятстве...

Солнце победно блистало в зените, когда, пав в беспощадной борьбе со светилом, Шолпан покинула этот мир уже навсегда.

Серия “Библиотека казахской прозы”

Магжан Жумабаев

ГРЕХОПАДЕНИЕ ШОЛПАН

Рассказ

Перевод с казахского

Ердена Хасенова

Редактор *Б.Ильясова*

Художник *Ж.Болатов*

Художественный редактор *Ш.Байкенова*

Технический редактор *С.Бейсенова*

ИБ № 97

Сдано в набор 28.07.2003г. Подписано в печать
19.08.2003г. Формат 70x90 ¹/₃₂. Печать офсетная.

Шрифт “Times”. Усл. печ.л. 1,46. Уч. изд.л. 1,48.

Тираж 2000 экз. Заказ № 2062.

Издательство “Аударма”,

473000, г.Астана, ул. Бейбітшілік, 25.

ЗАО “Астана полиграфия”,

473000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 25.



00093206